

Дэвид Вудрафф

БРЕМЯ ЭКОНОМИСТА¹

Anders Åslund. *How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 356 p. (Андерс Ослунд. Как был построен капитализм: трансформация Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии.)²

Всякий, кто изучает экономику посткоммунистических стран, ни в коем случае не пройдет мимо Андерса Ослунда и его писаний — даже зная, что лучше всего было бы поступить именно так. Потому что заниматься бывшим Восточным блоком (БВБ) — значит на каждом углу сталкиваться с категорическими, безапелляционными и нередко грубыми заявлениями этого автора, который, похоже, пребывает в непоколебимой уверенности, что он-то уж всегда точно знает, кто виноват и что делать. Ослунд, 1952 года рождения, изучал экономику в Оксфорде, затем поступил на шведскую дипломатическую службу и три года провел в «перестроечной» Москве. Окончательно оставив дипломатию ради экономики, он опубликовал в 1989 году книгу «Горбачев и его борьба за экономические реформы», где подробнейшим образом изложил перипетии межфракционных разборок в Политбюро. В 1991–1994 годах Ослунд входил в возглавляемую Джеффри Саксом команду западных специалистов, подвизавшуюся в качестве советников по макроэкономическим вопросам при российском правительстве. Финансируемая Фондом Форда и шведским правительством, эта команда агрессивно отстаивала шоковую терапию и поддерживала либералов-рыночников в окружении Ельцина — в частности Егора Гайдара и Бориса Федорова. Когда эти двое покинули правительство в начале 1994 года, Сакс и Ослунд также ушли со своих постов. С тех самых пор Ослунд нескончаемым потоком выдает на-гора книги и статьи — предназначенные в основном для ученых и полити-

ков — благодаря чему остается для западных СМИ бесспорным и главнейшим авторитетом в вопросах экономики посткоммунистического мира. Уютно угнездившись во влиятельном Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, Ослунд не упускает случая встрять в спор по любому сколько-нибудь важному вопросу российской политики.

Злые языки высказывали предположение, что у Ослунда были в России какие-то деловые интересы, но даже если это и верно, главный мотив здесь — идеологический. Несмотря на свое шведское происхождение, как экономист Ослунд всегда был скорее англосаксом, чем скандинавом, и к социал-демократической системе, принятой у себя на родине, ничего, кроме презрения, похоже, не испытывал. Его понимание экономики переходного периода характеризуется последовательным рыночным либерализмом. Согласно Ослунду, путь от социализма к капитализму задается тремя ключевыми политическими установками. Либерализация покончит со всеми ограничениями на внутреннюю и внешнюю торговлю и ценовую политику; финансовая стабилизация поставит под контроль инфляцию — посредством монетаристских ограничений и сбалансированного бюджета; и наконец, приватизация — для Ослунда это самое важное — не только поставит знак равенства между интересами бизнеса и общественным благом, но и сама станет политическим бастионом против любого возвращения к коммунизму. И самое важное при проведении этой политики — быстрота и бескомпромиссность. Потому что помимо скорейшего прихода капитализма и всех связанных с этим благ, быстрота и бескомпромиссность реформ укрепляют веру в их долговременный характер и следовательно, помогают крупному бизнесу — а равно и населению в целом — приспособиться к новым условиям.

Его книга «Как был построен капитализм», по словам самого Ослунда — это «отчасти продолжение, отчасти доработанное и расширенное издание» монографии 2002 года «Строительство капитализма». Смена грамматического времени с настоящего на прошедшее выражает уверенность Ослунда в том, что суд истории — окончательный и бесповоротный — над его программой «реформ» уже свершился. Начав с бравурного очерка падения коммунизма, автор переходит затем к тому, что доказывает: шоковая терапия была гораздо предпочтительнее любых постепенных реформ.

Книга «Как был построен капитализм», хотя и опубликована в академическом издании, однако «научной» — в строгом смысле слова — не является. По меткому выражению Макса Вебера, всякий, имеющий подлинное призвание к науке, всегда мучается сомнениями в правильности своих выводов. Здесь же никакому сомнению места нет вообще. Даже противореча самому себе, Ослунд делает это с сознанием своей абсолютной правоты. Все неудобные факты игнорируются либо прямо отвергаются. Самое большее, на что отваживается автор в плане самокритики, на поверку оказывается самооправданием — пусть и слегка замаскированным. Ослунд пишет, что в деле проведения радикальных рыночных реформ «успех экономистов» — к числу которых он, очевидно, относит и самого себя — определяется готовностью формулировать максимально простые политические рецепты. Во многих

1. David Woodruff. *The Economist's Burden*. *New Left Review*. No. 55. January-February 2009. P. 143–152.
2. Андерс Ослунд — старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (США); в прошлом — директор Российско-евразийской программы фонда Карнеги.

других научных дисциплинах ученые мужи, пожалуй, сочли бы такое упрощенчество недопустимым, а то и свидетельствующим о профнепригодности. Однако реформы требуют скорее простоты и ясности, нежели внимания к мелочам.

Но даже если встать на эту сомнительную точку зрения, все равно, как можно в работе, претендующей на серьезную научную ценность, совсем исключить эти «мелочи» из анализа? Тем более что последний носит уже в основном ретроспективный характер.

К сожалению для Ослунда в его дискурсе попытки подчеркнуть свои заслуги и откеститься от обвинений часто вступают в противоречие друг с другом. Особенно это бросается в глаза, когда речь заходит о демократии. Одно из самых серьезных обвинений, выдвинутых против идеологов радикальных реформ, состоит в том, что они с готовностью принесли демократию в жертву рынку. Ослунд, недавно сподобившийся опубликовать книгу о том, как в России «рыночные реформы увенчались успехом, а демократия не получилась», к этой теме явно и глубоко равнодушен.

С самого начала посткоммунистической эпохи либеральные экономисты — убежденные в том, что они и только они способны указать БВБ единственный путь, ведущий в светлое завтра — всячески избегали казаться апологетами просвещенного деспотизма. На самом же деле некоторые из их идей относительно курса реформ практически санкционировали диктатуру. Ведь с точки зрения либералов сами реформы — это «общественное благо». А как цинично заметил Мансур Олсон, к участию в движении, преследующем общественные интересы, широкие массы привлечь трудно — поскольку многие скорее предпочтут, чтобы за них это сделал кто-то другой. Закрытие неэффективных производств, высвобождение ресурсов для более осмысленного применения, передача активов в руки тех, кто мог распорядиться ими с наибольшей выгодой и, наконец, борьба с инфляцией — все это делалось ради общей пользы — даже тех граждан, которые эту пользу не понимали или в принципе были против реформ. Подобный электорат сам никакого политического движения создать не мог и, неспособный защитить собственные интересы, нуждался в том, чтобы их защищали другие. Добровольцами вызвались либеральные экономисты.

Если верить приведенному выше анализу политической ситуации, либерализация требовалась не просто скорейшая и всеобъемлющая, но и откровенно антидемократическая. Потому-де, что пока граждане будут мирно «косить и забивать», безразличные к предпринимаемым ради их пользы героическим усилиям, дела в экономике пойдут по наихудшему сценарию — и все из-за разлагающегося государственного сектора! — раз и навсегда похоронив саму идею либерализации. Более того — получалось, что сама непопулярность рыночных реформ доказывала их «общественно-полезный» характер — так как, следуя логике Олсона, «общественное благо» искренних сторонников вообще не имеет. Ослунду, по всей видимости, эта позиция во многом близка. Он утверждает, что реформаторам необходимо было «использовать уникальную возможность», представившуюся благодаря

политическому расколу в обществе — пока оппозиция либеральной политике еще не успела сформироваться и окрепнуть. Ослунд нехотя признает, что план приватизации можно было разработать и получше — исключив самые непопулярные политические меры. Наконец, он отвергает всяческую критику в адрес западных экономических советников, считая ее лучшим доказательством эффективности их работы.

Поскольку железная логика Олсона — не говоря уже о собственных категорических «рекомендациях» Ослунда — подразумевает, что принятие решений демократическими методами в деле либерализации — это в лучшем случае помеха, а в худшем вредительство, диктаторские коннотации становятся очевидными. Однако они так и остаются коннотациями. Ослунду явно гораздо приятнее утверждать, что демократия и рыночные реформы — вещи, абсолютно совместимые. Здесь он следует Джоэлу Хеллману, выдвинувшему в своей шумевшей статье 1998 года предположение, что главными противниками рыночных реформ являются отнюдь не бедные и обездоленные, а богатые «любители ренты», наживающиеся благодаря кастрированным «частичным реформам». Поскольку более полная либерализация — в частности, отказ от стимулирующих инфляцию субсидий, открытие рынков для иностранных товаров и борьба с коррупцией — уменьшат их ренту, эти «жирные коты» стараются препятствовать радикальным реформам. Хеллман утверждает, что исправить создавшуюся ситуацию может только демократия — так как при ней люди, страдающие от «любителей ренты» всегда смогут «задавить» немногочисленную прослойку последних голосами на выборах, открыв тем самым путь к более полной либерализации. В доказательство приводится соотношение между успехами реформ — согласно так называемым индикаторам перехода, принятым Европейским банком реконструкции и развития — и «уровнем демократии» в различных посткоммунистических государствах — по индексу политических прав, разработанному *Freedom House*. Ослунд приводит сходные данные — и у него глубина реформ строго коррелирует с рейтингами *Freedom House*.

Однако при ближайшем рассмотрении подобное доказательство совместности демократии и рыночных реформ оказывается гораздо менее бесспорным, чем хотели бы показать его сторонники. Во-первых, получается, что главное достоинство демократии состоит не в том, что при ней, например, решения принимаются коллегиально или что граждане пользуются равной долей суверенитета в определении общей своей судьбы. Оказывается, демократия «есть» лишь постольку, поскольку в стране реализуются экономические меры, одобряемые ЕБРР! Как отметил Эндрю Барнс в своей рецензии на более раннюю версию книги Ослунда, немного странно говорить о торжестве демократии — которая в конечном итоге сводится к набору процедур, регулирующих процесс принятия решений — в странах, где самостоятельные политические решения вообще не принимаются.

Во-вторых, существует огромное количество фактов, свидетельствующих, что движение «вперед по Ослундовскому пути» происходило вовсе не благодаря горячей поддержке курсу реформ со стороны масс избирателей — а про-

сто потому, что политики, гораздо больше прислушивались к уговорам — или угрозам — мирового сообщества, чем к собственному электорату.

Если мы теперь обратимся к истории, то увидим, что бескомпромиссные рыночные реформы — равно как и лежащая в их основе политическая философия — были именно враждебны демократии — причем не только в теории, но и на практике. Еще очень давно Карл Поланьи заметил, что либералы-рыночники любят отстаивать свою правоту, ссылаясь на то, что их доктрину де «неправильно реализовывали». В случае с Ослундом этим «несовершенством исполнения» объясняется, почему вину за крах демократии России ни в коем случае не следует возлагать на радикальные рыночные реформы. Правда, совершенно не учитывается разлагающее воздействие, которое оказывает на демократию исполнительная власть, убежденная в том, что она единственная знает универсальный ответ на все экономические вызовы, и требующая от парламента и судебных органов «безраздельно разделять» любые свои решения. С самого начала российской программы шоковой терапии было ясно, что всякий раз, когда ельцинскому правительству придется делать выбор между тем, что требует закон или парламент, и тем, что ему самому хочется, оно в любом случае выберет последнее.

Ключевые шаги российской приватизации целиком опирались на президентские указы, которые никогда бы не удалось протолкнуть через Думу. Кремль систематически игнорировал бюджетные законы, если доходной части последних ему не хватало. Развязка наступила в октябре 1993 года, когда Ельцин приказал обстрелять из танков здание парламента, и между сторонниками последней и силами, поддерживающими президента, вспыхнули вооруженные столкновения. А началось все с того, что Ельцин неконституционно распустил парламент — в отместку за отказ поддержать его экономическую политику. Несколькими днями ранее Ельцин вновь назначил в свое правительство либерала Гайдара — давая тем самым понять Западу, что остается приверженцем рыночных реформ. И хотя одновременно он готовился отказаться от конституционного правления, однако правильно рассудил, что для заграницы первое обстоятельство будет куда важнее второго. Точно так же, когда Ельцин чуть ли не силой вырвал победу на выборах 1996 году, откровенно обменяв государственные активы на поддержку богатых (хотя ельцинское окружение в любом случае было готово аннулировать результаты выборов, если бы их результаты не устроили Кремль), продолжение рыночных реформ опять сочли важнее демократии. Ослунд в своей книге об этих событиях почти ничего не пишет — разве что вышучивает экономические воззрения коммунистов — оппонентов Ельцина. Антисемитские, конспирологические бредни КПРФ действительно представляли собой жалкое зрелище. Однако Ельцина и его союзников тоже есть, в чем обвинить: систематически демонстрируя неуважение к институтам демократии, они уничтожили самую возможность возникновения конструктивной — а не воинствующей — оппозиции.

Во-вторых, практика радикальных рыночных реформ подрывала демократию еще и тем, что нередко требовала вещей, которые просто невоз-

можно было исполнить. Возьмем развитие бартера в российской экономике 1990-х. По мере ужесточения монетарной политики после 1993 года многие промышленные предприятия начали испытывать давление дефляции — поскольку у потребителей не хватало средств покупать их продукцию. Однако, обремененные долгами перед собственными поставщиками, в условиях, когда фискальные органы рассматривали отсутствие прибылей как очевидный признак уклонения от уплаты налогов, они и цены не могли снизить. Вместо этого производители стали принимать в зачет платежей товары или долговые обязательства ограниченного обращения. Тем самым цены снижались фактически, оставаясь номинально неизменными. К августу 1998 года 54% продаж промышленных товаров совершалось в неденежной форме. Эта продиктованная отчаянием мера создала для российских предпринимателей новые колоссальные трудности. Самая главная заключалась в том, что теперь при исчислении суммы налогов неденежные поступления учитывались наравне с денежными, тем самым значительно увеличивая и без того немалое налоговое бремя. Тогда правительство стало принимать товары и краткосрочные обязательства в качестве платежей. Поскольку на практике это являлось налоговым вычетом, Ослунд заключает, что «бартер — это по сути форма ухода от налогов» и «всего лишь очередной способ получения несправедливой ренты». Данная точка зрения была и остается совершенно абсурдной: ведь от налогов уклоняются во всем мире, однако при этом нигде половина (!) оборота промышленных товаров не приобретает натурального характера. «Бартерное» налогообложение, конечно, открывает простор для коррупционных махинаций, однако оно само по себе явилось вынужденной мерой в условиях натурального оборота, подъем которого в России явно предшествовал изменениям в налоговом кодексе.

Однако еще более абсурдным представляется вывод — известный как концепция «виртуальной экономики», которую Ослунд во многом разделяет — что большинство фирм, занимавшихся бартером, «занижали» таким образом «стоимость продукции», и, следовательно, их надо было немедленно закрыть. Вся очевидную нереальность подобного требования рыночные радикалы во внимание не принимали. До дефолта 1998 года в российском правительстве имелись люди, стремившиеся искоренить бартер административными средствами. Однако их усилия были нескоординированными, а потому малоэффективными; кроме того, они не пытались создать политической базы для своих мероприятий. Ослунд явно не понимает той простой истины, что нельзя заниматься бартером, не имея ничего на продажу: все эти взаимозачеты и погашения задолженностей также подчиняются законам спроса и предложения. На практике оборот различных эрзац-денег приводил к многочисленным локальным девальвациям рубля, позволяя предприятиям выживать в условиях, когда курс национальной валюты был в огромной степени неоправданно завышен. Когда обвал экономики в 1998 году вынудил на 75% обесценить рубль, бартер быстро сам собой улетучился. Вообще, и тем, как стремительно Россия оправилась от последствий дефолта, и годами последующего экономического роста, она во мно-

гим обязана бартерной экономике 1990-х. Если бы не это новое издание натурального обмена, позволившее предприятиям работать в самых неблагоприятных условиях, они не смогли бы обеспечить экономический рост, когда в 1998 году курс национальной валюты наконец-то рухнул.

Говоря о приватизации, Ослунд в своей характерной категорической манере заявляет: не важно *как* ее проводили — приватизацию просто необходимо было провести, и чем скорее, тем лучше. Там, где этой рекомендации последовали — как например, в России — частная собственность в итоге распределилась как-то коряво: совладельцами большинства предприятий оказались группировки со взаимоисключающими интересами; во многих случаях были разорваны жизненно важные кооперационные связи между традиционными партнерами. Борьба за собственность более чем на десятилетие задержала обновление основных фондов и поиск инвесторов — хотя Ослунд и то и другое всячески приветствует. Приватизация более медленная, не такая хаотическая, ориентированная в первую очередь на обеспечение стабильности прав собственности, могла бы всего этого избежать. К слову, нечто подобное имело место в Польше — но Ослунд безапелляционно заявляет, что это, мол, исключение. Он утверждает, что скорейшей приватизации требовало массовое разворовывание государственной собственности теми, кто ей управлял. Однако на самом деле чаще бывало наоборот: директора начинали воровать для того, чтобы на вырученные средства приобрести «свое» предприятие, как только его заявят к приватизации. Более постепенный процесс, при котором до конца сохраняется неясность, кому в конечном итоге достанутся акции предприятия — «своим» или чужим, и если «своим», то кому именно — стимулировал бы взаимный контроль работников и руководства и тем самым гарантировал сохранение активов неприкосновенными вплоть до самой приватизации. Скорейшая либерализация цен была мерой разумной — по крайней мере в Советском Союзе, где механизмы макроэкономического регулирования плановой экономики пришли в совершенную негодность. В поспешной приватизации ничего разумного не было. Ослунд по существу признает, что в России между приватизацией и первыми ее позитивными следствиями, обозначившимися, когда в силу вошли олигархи, прошло почти 10 лет. Остается только гадать, почему он тогда продолжает отстаивать ту исключительную спешку, с которой приватизация проводилась?

Конечно, один из главных аргументов в пользу радикальных рыночных реформ состоял в том, что они-де должны были способствовать экономическому росту. Применительно к 1990-м, когда Восточная и Центральная Европа и Прибалтика восстанавливались и развивались быстрее стран СНГ, Ослунд мог бы сослаться на некую поверхностную корреляцию между реформами и экономическим ростом. Однако начиная с 2000 года и до настоящего времени, страны СНГ — включая Россию — развиваются гораздо быстрее своих соседей на Западе и Северо-Западе. Ослунду остается только признать, что «грешники» процветают, а «праведники» плетутся в хвосте, либо как-то исхитриться и пересмотреть критерии «греха»

и «праведности». По сугубо моральным соображениям он выбирает последнюю. Оказывается, что замедление экономического роста в Центральной и Восточной Европе явилось следствием «ловушки социального обеспечения»: когда слишком большие пенсии и прочие государственные социальные обязательства ведут к избыточному налогообложению, из-за чего уровень безработицы остается высоким, а темпы экономического роста низкими. Между тем в России и во многих странах СНГ в 2000-х налоги наоборот были очень низкими, чем и объясняется впечатляющий экономический рост в этом регионе. Это открытие настолько поражает Ослунда, что он вновь скатывается в эдакий рыночный авторитаризм — поддерживая тезис, что если с «любителями ренты» в качестве главного препятствия экономического роста демократия еще может как-то мириться, то скверное свойство рядовых избирателей «дойти» богатых оборачивается для экономики таким налоговым бременем, что самая демократия становится контрпродуктивной.

Книга «Как был построен капитализм» с ее безудержным стремлением расточать похвалы радикальным рыночным реформам, верхоглядским отношением к историческим реалиям — здесь одних только фактических ошибок и противоречий хватило бы на отдельную рецензию — и решительным нежеланием допустить самую возможность того, что из 15 лет посткоммунистической эпохи можно извлечь какие-либо полезные уроки, оставляет после себя чувство глубокого разочарования. Прочитав ее, кажется, что стал знать меньше. В конечном итоге значение этой книги определяется не ее содержанием. Вопрос в том, какие внешние условия позволили этому тенденциозному и в высшей степени ненаучному сочинению снискать такую известность?

Во многом это объясняется наследием холодной войны. Западная журналистика, ограниченная с одной стороны коммунистической цензурой, а с другой — собственным отсутствием воображения, в течение десятилетий была не в состоянии поведать про Восточный блок что-либо помимо борьбы «режима против диссидентов». В 1980-е этот дуализм мутировал в «Горбачева и реформы против Лигачева и реакции». В 1990-е он нашел новое воплощение: «Ельцин против любителей ренты». Сегодня речь идет о «силовиках» — против кого угодно: технократов, олигархов или демократов. Такие истории просто рассказывать, и Ослунд легко компенсирует энергичностью и живостью слога недостаток фактической точности.

Сегодня, когда спекулятивный капитал бежит со всех без исключения рынков, Ослунд знает, кого винить за коллапс, постигший в последнее время Россию — Путина: прижав бизнес и напав на Грузию, он-де распугал инвесторов. Кто-то ведь всегда виноват — но только не либералы-рыночники!

Сокращенный перевод с английского Алексея Корнилова